

но толстые обветренные губы шевелились, шепча молитву. «Сторожится», — подумала лежавшая, однако с приближением дробного перестука колес и сама почувствовала крадущийся по коже морозец. Поднявшись на колени, она взяла за лямки свой дорожный мешок и, волоча его по плесневелому мху, отползла в чащу.

— Разговаривают мужчина с женщиной, — сказала высокая той же необычной для нее скороговоркой и посоветовала: — Ты бы встала, сестричка: простынешь, мокренько тут. Встань, помогу.

Заморенная пегая лошадь едва тащила кулевозную телегу, поверх примятой соломы на телеге виднелся только зеленый ранец с привязанным к нему закопченным солдатским котелком. Люди шли по той тропе, где еще пять минут назад лежала беременная. Впереди не спеша шагала высокий сутуловатый мужчина в шинели. Одна рука его покоилась пониже груди на черной перевязке, а из-под защитной армейской пилотки выглядывал ободок белого бинта. Женщина была одета по-праздничному, а ее цветастый полушалок, казалось, излучал сияние радости.

«Встретила, — догадалась беременная, невольно позавидовав счастьем незнакомой женщины. — Вот люди встречаются, а я...»

Она не расслышала, что сказала женщина на тропе. Мужчина резко обернулся к жене и удивленно переспросил:

— Минодора?.. Тебя в секту скрытников?.. С ума сойти!

— Не сама Минодора, а, видно, ее подружка, кривобокая такая, прихрамывает. Я ей отбой дала. Одинова, говорю, живем, чтобы не умерши в могилу лезть.

— В могилу — точно! Значит, секта снова живет?

— Видно, так... Знаешь, как мы сделали, чтобы узнать?..

— Ну-ну, расскажи...

Он приостановился, чтобы пойти рядом с женой. Звонкий голос женщины, постепенно удаляясь, слился с многообразным звучанием леса.

Немного отстав от своей спутницы, беременная выбралась из чащи на придорожную тропинку и побрела, лишь усилием воли передвигая вконец отяжелевшие ноги. Уголок темной вязаной шали она держала в зубах, что выдавало ее волнение. Если четверть часа назад тело

женщины разламывала тупая боль и мозг застилала единственная дума — как сохранить ребенка, то теперь у нее будто все застыло внутри. Зато мысли, нахлынув, замесались и загудели в голове, точно пчелы в улье. У Анны было такое чувство, будто она внезапно обрела слух. Слова раненого солдата и его жены донеслись к ней с такой силой, с какой доносится зовущий клич вольной птицы до птицы, заточенной в клетке. Она сразу поняла их значение, но раздумывать над обжигающей истиной услышанного не смела. Ведь все, что окружало ее до сих пор, выглядело либо беспросветно мрачным, либо святым и непорочным. Но слова, сказанные прохожими, не давали покоя. Они тревожили больше, чем кровавая мозоль на пятке. Мозоль она еще утром смазала лампадным маслом и перевязала чистой тряпочкой; но ведь слова не смажешь, ваткой не обернешь — они как живые свербят в самой середине мозга.

Женщине сделалось не по себе. Она собралась уже окликнуть свою спутницу, попросить ее пойти рядом, поведать старшей и многоопытной о вдруг нахлынувшей греховной тоске, чтобы вдвоем отогнать прочь и развеять мысли, но что-то необоримое, похожее на ревность, сковало ее волю. «Нет, я сама, — упрямо решила она. — Пусть Христос свидетель и больше никто. Да скоро ли они исчезнут? И о чем, о ком, зачем я думаю, о господи!.. О себе, — так весь мой путь теперь освещен твоим неизреченным светом. О ближних, — так у меня их нет; одна душа моя мне ближница и советница, как учишь ты, господи. Ну скоро ли, скоро ли исчезнут?!»

И верно, едва за извилинами тропы скрылись, наконец, белый ободок на голове солдата и пылающий костром полушалок его подруги, женщина вздохнула свободней: быть может, искушения кончились и невольный грех сомнения удастся замолить. Она даже улыбнулась, резко прибавила шаг, но тотчас со стоном присела на тропу: ребенок шевельнулся внутри, и в поясницу снова ударила боль. «А-а, вот оно! — мысленно воскликнула она, вновь ощутив вместе с болью радость материнства. — Вот о ком, вот о чем думала я».

— Сестрица!..

Старшая обернулась и поспешила к спутнице, но та неожиданно махнула рукой:

— Не ходи, сестра, мне лучше!

Она сказала наполовину правду. Боль стихла так же

внезапно, как и возникла, но не из-за этого больная ото-слала назад свою спутницу; причиной были следы на тропе. Женщина увидела их в тот момент, когда окликнула старшую, и вдруг ее охватило неодолимое желание побыть наедине с ними. Свежие, точно отлитые, на густом черно-земе следы несомненно принадлежали солдату и его подруге. Случись это немножко раньше, странница, конечно, устранилась бы своей находки, приняв следы чужих ей людей за новое искушение; возможно, снова позвала бы на помощь свою спутницу. Но теперь к ней возвратился прежний страх, страх за будущность своего ребенка.

Женщина брела, глядя на следы, и напряженно думала. В ее воображении отпечатки мужских сапог и женских туфель словно оживали. Будто ведя между собой осмысленную беседу, следы не перебивали друг друга, а время от времени, исчезая с тропы, смолкали, как бы для того, чтобы дать ей самой разобраться в смысле сказанного.

Широкостопный, с подковой на шипах след солдата, казалось ей, вздрогнув от изумления, воскликнул: «Тебя в секту скрытников? С ума сойти!» — и обернулся к следу туфли.

Женщина помнила, что в возгласе изумления будто действительно проскользнул тогда страх сумасшествия, — недаром при этих словах солдат так резко обернулся к жене. Ясно помнилось и то, что в этот момент волглый лист, на котором полулежала странница, показался ей колючим. Но чем грозит все это ее ребенку? Сумасшествием? Ведь он не скрытник, не странник, он только дитя!

Но с тропы, будто наяву, прозвучал голос другого следа. Лункообразный, будто ткнутый батоном впереди идущей странницы, он откликнулся первому тотчас: «Нет дураков, чтобы живьем в могилу лезть!» — и замолчал, словно ожидая чьего-то отклика.

Станница припоминала, что она тогда позавидовала счастливой солдатке. Позавидовала ее лучезарному полушалку, ее бордовому плюшевому жакету и розовому платью. Она позавидовала даже ее голосу: чистый, упругий, как звон струны, он исходил, очевидно, от самого сердца. Сначала умиленная нарядом женщины, потом оглушенная ее словами, странница забыла в первые минуты, кто она сама, где находится и что с ней происходит; только выбравшись на тропинку, она поняла смысл услышанного — и испугалась. «Нет дураков? — спросила она

себя. — А если есть? Не я ли в их числе? Живьем в могилу лезть... Не верно ли это — живьем в могилу? Господи, что это со мной сегодня?.. А с ним, что будет с ним?.. Ведь я не встречала странниц с малютками, хотя беременных видела. Грех бродит с нами по обителям, грех и бесчестие, а младенцев нет. Вон Неонила говорит, что их в мир подкидывают. Сама сестра Платонида этим занимается. Ужели взаправду? А я... я не дам. Не дам! Не поддамся Платониде. Он у меня первенький!»

Она опомнилась, страшно перепугавшись: не крикнула ли последнюю фразу, последнее слово? Но ее спутница спокойно шла впереди своими мягкими шажками. Значит, не слышала, и все обошлось благополучно. Рукавом стеганой кофты женщина отерла пот с лица и, опять закусив уголок платка, побрела дальше. «Вот тебе и Платонидушка, — думала она. — На все руки мастерица. И обратит, и окрестит нас грешных, и с младенцами справится. Вот тебе и убогая, кривобокая да хромоногая. Везде успела. У нас побывала и здешних не забыла, даром что триста верст. Похаживает, попрыгивает!»

Женщина хорошо помнила странницу сестру Платониду, хотя не встречалась с нею ровно год. Это безликое, точно червяк, существо, появившееся на их хуторе с последними мартовскими буранами, было принято хуторянами сначала за нищую, затем за прежнюю монашку. Обойдя все семь дворов и благочестиво побеседовав с женщинами (она не спешила уходить — тут поест, там попьет или просто погреемся), странница к вечеру зашла и в крайнюю избушку одинокой солдатки Анны Дреминой.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — произнесла она, глядя куда-то в сторону, от разукрашенной божницы, и поклонилась Анне чуть не земным поклоном.

— Аминь, — сказала Анна, как обычно отвечали гостям ее отец и мать — староверы.

Сама она, выйдя замуж за «поповца», давно отвыкла от этого слова и, если бы не церковь, быть может, и забыла бы его. Сейчас оно вырвалось у нее нечаянно.

Искривленная и будто подпертая посошком низенькая фигурка странницы вдруг стала выше, обтянутое белым платком темно-желтое лицо ее посветлело, безгубый рот вытянулся в шнур над острым клинышком подбородка, а огромные иссиня-черные глаза вспыхнули точно два угля.

— Не забыла древнего благочестия? — не то спросила, не то поощрила старуху, и от ее голоса на одинокую хозяйку повеяло теплом. — Не отринула родительского?.. Дай-ко сяду... Токмо и хвалить — погодить. Пошто идолят деревянных на пречестное место вознесла да изукрасила? Пошто святые медницы вряд с треклятой осиною поставила?

Она повела вдоль божницы своим огненным взглядом и, не дожидаясь ни ответа, ни приглашения солдатки, проковыляла к столу и села спиной к иконам.

— Не гоже это, Аннушка, — продолжала странница, к удивлению хозяйки называя ее по имени. — Не гоже!.. Ночевать у тебя стану, душа, тебе льнет. Только ты, того, уважь старуху, сокрой от взоров осинное поповское суемудрие вон хоть тем половиком от порога. Чистого идола не достойны!.. Подь-ко, помоги хламидину снять, тепло у тебя.

Анна до сих пор не могла понять, как это она, потеряв в тот вечер всякое самообладание, оказалась во власти старухи-странницы? Видя мерцающие черным блеском, а иногда вспыхивающие огнем глаза старухи и слыша ее чаще молодой и певучий, чем резкий металлический голос, она делала все, что просила пришельца. Конечно же, она оставила ее ночевать, — солдатка была довольна, что хоть один вечерок побудет с человеком. Помогла старухе раздеться, удивившись при этом, что крытая дешевым бобриком шуба нищенки была на беличьем меху и весила не больше, чем пуховая шаль Анны. Этой-то шалью хозяйка и закрыла иконы, оставив, по приказу странницы, лишь одну медную иконку-раскладушку.

Через час обе сидели за прокопченным чугуном (самовар старуха назвала сатанинской посудой) и пили кипяток с вареньем. Из уважения к гостье, а может быть, скорее из страха перед ней, одну воду без заварки пила и хозяйка. Прихлебывая из блюдца, странница не переставала говорить. Ее воркующий, словно подогретый кипятком и подслащенный вареньем, голос журчал ручейком, а из щели беззубого рта будто выкатывались точеными шариками одно к другому подобранные слова.

— Ведаю, Аннушка, все бытие твое, аки в воду зрю. Батюшка с матушкой припадали ко стопам евангельского благочестия — мир праху их и пресветлый рай душам, идеже праведники упокоются! Ведаю, что дочь

единственную воспитали в посте и молитве. Отроковицей ангелом бесплотным пребывала, былинку притоптать боялась, тварь неразумную не обидела. Аль не так было?

Она обшарила лицо Анны своим мерцающим взглядом; и та, отставив чашку, сунула в рот кончик уголка полushалка. Заметив ее смущение, странница продолжала:

— Ведаю, како девница Анна, заблудши во грех, прогневила родших ее, иновером да табашником, игрателем да скакателем прельстилась. Аль опять лжу? Не затворяй уста, Анна, не согрешивый да не кается, а не покаявый да не спасется!

— Было, — промолвила Анна, сжавшись под взглядом старухи. — Грешна и каюсь.

— Аминь!.. Христос ныне взыскал тебя, грешницу. По велицей милости его ты семнадцать годов нудилась в Содоме и Гоморре, семнадцать годов — нечет в числе-то, разумеи, — зализывала раны на теле своем от смердящего пса, мужем нарицаемого!.. Пошто у попов-златоризцев благодати искала? Пошто в их идольское капище хаживала? Чернорясцы-монахи — грех грехов и суета сует, а златоризцы попы — геенна зловонная. Личина — во святых апостол, а по делом своим Вараввы-разбойники!

По мгlistому лицу старухи прошла судорога, безгубый рот искривился и передернулся, устремленные на Анну зрачки глаз стали острыми, точно вся сила пламенного взгляда вдруг сосредоточилась в них. Анна выронила чашку и сперва даже не почувствовала ожога на коленях: такой хулы церковников она не слыхивала даже от отца. Старуха выпрямилась, вскинув голову, и с новой страстью повысила голос.

— Я, раба Платонида, — возгласила она, уперев сложенные щепотью пальцы в грудь, — провозвестница Христа истинного, господа бога единого, говорю тебе, Анна: восстань ото сна!.. Троюжды прокляни богомерзкое замужество твое, ибо язычник и мучитель твой с поля брани не воротится, яко в воду зрю!.. Христос покарал его. Подох, окаянный, яко Голиаф от десницы Давыдовой, истинно реку. Кинь, Анна, и худобу свою, ибо не твоя она, колхоза; плюнь и отшатнись от нее, как от скверны. Прозрей, слепица, грехи твои бесчисленны есть! Отринь мирское и спасайся покаянием. С покаянием же, раба нечистая, гряди за Христом во царствие его!

Петух в подполье открывал полночь, в семилинейной

лампешке догорал керосин, в избе воняло гарью обсыхающего фитилька; и, быть может, от этого смрада или еще от чего у Анны кружилась голова, но проповедница не переставала говорить. Точно длинную кошмарную сказку выслушав от старухи всю свою жизнь, Анна уже не сомневалась, что Платонида — провидица: откуда же иначе знать пришлой страннице все Аннины горести, да еще в таких подробностях?.. Солдатка сидела, будто придавленная словами Платониды, а старуха толковала ей уже каноны богохранимой общины «взыскующих града святого», истинно православных христиан странствующих.

— Во свете его узришь свет, Анна! — наконец воскликнула она с неожиданной для ее тщедушного тельца внутренней силой. — Не мудрствуй лукаво над стезей своей, припади к нетленному Иисусу, ибо, зрю, спасешься с ним и возвеличишься!

— Аминь, — невольно прошептала Анна.

Старуха расслышала шепот женщины, по ее плоскому лицу проскользнуло нечто вроде улыбки, она отвернулась к божнице, потом заметно осевшим голосом попросила:

— Поставь-ка триликую медницу в другой уголок, помолюсь я.

Приготовив постель для странницы на широкой лавке, Анна постелила себе поблизости на скамье. После молитвы Платонида не вымолвила ни слова, а на вопрос Анны, не низко ли будет под головой, она лишь неодобрительно покосилась на нее и отложила в сторону мягкую подушку. Не успела Анна убрать со стола и погасить свет, как странница натужно захрапела. «Ей думать не о чем, — вздыхая про себя, заметила Анна, — одной ногой она уже в раю... Пророчица!»

Не раздеваясь, солдатка осторожно присела на скамью и некоторое время с благоговейным трепетом глядела на гостью. Через окно на лавку падали белесые блики, и в их мертвенном отсвете уродливое тельце Платониды, вытянутое под простынкой, представлялось еще более хлипким и еще более призрачным, чем при свете лампы. Сухое лицо странницы с круглыми впадинами глазниц напоминало Анне маску, какими в ее молодые годы на святках парни пугали девушек. От этих круглых ямин все холодело внутри Анны; ей казалось, будто под темными старушечьими веками, точно под слоем пепла, то мерцали, то вспыхивали дотлевающие угли.

Истово перекрестившись, Анна легла, но с нею вместе устроились и ее думы; и чем ближе к ней придвигались они, тем дальше от нее убегал сон. Будто разворошенные остроконечным посошком странницы, изо всех углов выползали и во весь рост поднимались одно другого ярче, одно другого ошутимее, казалось, уже потускневшие от времени воспоминания. Было и обидно и стыдно, что чей-то чужой глаз — пусть даже всезрящее око провидицы — бесцеремонно заглянул в самые потаенные места ее жизни и безжалостно оголил вконец истерзанную душу.

Да, извилист и греховен путь, которым Анна шла с отрочества до этих дней, но он же и тернист, что угодно богу. Она помнит все и, помня, молится вон тем своим медницам; но разве ее вина, что бог не принимает ее молитвы, не слыша или презревая их? Да, она готова и впредь молиться и каяться, — но как сделать так, чтобы стать ходатайницей перед богом и за себя и за мужа? Ведь бабка и мать с колыбели твердили ей, что жена и в могиле раба своего мужа, а провидица Платонида учит проклясть его, мучителя и язычника. Где она, истина?..

В истинах — как в жизненных, так и в религиозных — Анна заблудилась давно. Единственная дочь благочестивых и не бедных родителей (как писалось в прочитанных Анной «житиях святых великомучениц»), она постигла грамоту не в школе, а от отца — по библии и по псалтырю, воспитывалась бабкой и матерью на ветхом завете и евангелии и лишь к шестнадцати годам, впервые одна, без строгой матери, прошла по улицам родного села. Подружка у нее была единственная, слепорожденная и косноязычная Параша, та самая, которую изнасиловал и бросил в колодезь молодой колчаковский офицер. Анну же природа не обидела ни лицом, ни станом; и не ее вина, что до двадцати пяти годов она невестилась. «За коммуниста не ходи: богохульник, — строго наставляли ее родители-староверы. — За комсомольца не моги: тот же коммунист». А ведь сватались. Засылали сватов и беспартийные, только первый был православным, а другой — католиком. Приходил и старообрядец, но уже вдовец с двумя детьми. Анна согласилась было, да снова вмешались родители, и свадьба не состоялась. Над Анной нависало вековущество. И вот весной на село приехал нездешний паренек, не красивый, но с ремеслом шорника, в крестьянском быту незаменим; гармонист и певун, но ведь «с кем грех да беда не

живет», авось с годами остепенится. Был он моложе Анны на четыре года, зато повыше ее на две головы — чем не жених? И Анна впервые пренебрегла заботой отца и матери, ушла из дома. Записались они с Павлом в сельсовет, сняли комнатку и занялись шорничеством. Рукодельница с детства, Анна быстро одолела это ремесло. Зажили на зависть людям. Она ничего лучшего не желала, а Павла тяготило одно: он не знал, куда девать по вечерам свободное время. Ходить с гармошкой в табуны холостяков и орать песни на улице — стеснялся, а избачитальня — ее почему-то называли народным домом — либо была под замком, либо зазывала на лекции о ликвидации трехпольных севооборотов или организации машинных товариществ. Скуки ради он дважды забрел в церковь, чтобы послушать пение. Понравилось. Любитель попеть, в другой раз Павел сам подладился к хору и с тех пор зачастил к обедням и вечерам. Через полгода, понимающий певец и способный музыкант, он стал церковным регентом. Звал Павел в хор и жену, однако, воспитанная по иным правилам, Анна отказалась, хотя не возражала, что муж прирабатывал в церкви ради достатка. Как-то в субботний вечер Павел пришел домой выпивши. «Провожали старого псаломщика и обмывали нового», — загадочно ухмыляясь, объяснил он жене. Этим новым псаломщиком оказался сам Павел... Для Анны это событие было страшным ударом: дочь исконных старообрядцев, сама старообрядка, она стала женою духовного лица православной церкви!.. Если до сих пор Анна сторонилась односельчан, переживая позор самовольного замужества, то теперь вовсе замкнулась в своей комнатке с хомутами и уздечками, стыдась показаться на глаза даже заказчикам. Павел являлся пьяным все чаще и чаще. Он угощался либо на именинах у священника, либо на поминках у дьякона, то на престольном празднике Фрола и Лавра в одной деревне прихода, то на Троеручице — в другой, или на крестинах у Петра Ивановича, или на бракосочетании у Ивана Петровича. Выпивал молодой псаломщик по случаю получки с ктиторм и по поводу дружбы с регентом. В канун крещения, ровно через год после свадьбы, явившись с освящения нового дома сельского нэпмана-лавочника Карнаухова, Павел впервые избил жену и «вышиб из нее» первого ребенка, пятимесячную девочку. Через день, похмельный от крещенского угощения, Павел понес гробик на кладбище и, от двери

обернувшись к жене, угрожающе проговорил: «Больше не смей беременеть! Отец Вениамин отказался крестить ребенка от тебя, от староверки. А какой же я псаломщик с некрещеным дитем?» Выздоровев, Анна решила сходить к отцу Вениамину с жалобой и с просьбой. «Муж — господин жене своей и чадам своим, — сказал священник, выслушав жалобу Анны, а на просьбу ее ответил: — Окрестить тебя мой долг, но прежде налагаю на тя епитимью при церкви. До праздника святого крещения, когда примешь крещение и ты, станешь блюсти всемерное благолепие храма сего». Чтобы не потерять мужа и, будучи с ним в церкви, попытаться охранить его от пьянства, Анна согласилась принять это тяжкое наказание. В течение года она изо дня в день безвозмездно мыла церковные полы, стирала и чистила покровы и коврики, протирала и начищала деревянную и металлическую утварь. Зато частенько уводила Павла домой трезвым и мирным.

Перед праздником рождества она по приказанию священника протирала паникадило, подвешенное к потолку в самой середине церкви. Стоя на лестнице-стремянке, женщина не заметила, как кто-то вошел в помещение, приблизился к лестнице и встал под нею. Почувствовав на себе чей-то слишком уж необычный взгляд, Анна глянула вниз, схватилась за подол юбки, крикнула: «Отец дьякон, что вы!» — и, потеряв равновесие, рухнула на пол вместе с лестницей. Она видела, как в северных дверях алтаря мелькнул подол серой дьяконской рясы, но сколько ни звала на помощь — церковник не вышел. Окровавленная, Анна выползла на паперть и закричала...

Так потеряла Анна второго ребенка.

Больше она в церковь не ходила; не стал ходить туда и Павел, он вдруг увлекся покупкой дома на хуторе. Анна понимала его по-своему: после неудачной церковной карьеры бывшему псаломщику, теперь лишенному права голоса, несносно было в многолюдном селе, его одолевал стыд. На хуторе Павелпил реже, видимо, на «старую закваску», нопил, а опьянев, бил жену, если она не успевала спрятаться.

Пил и бил потому, что он лишенец и ему «все равно», потому, что мало заказов на шорные работы, потому, что он православный, а она как была так и осталась староверкой. Чтобы избавиться от попреков мужа в их разноверии, Анна купила две деревянные иконы и украсила их, но свою медную, трижды раскладную иконку держала на